ГОСУДАРСТВО КАК МЕХАНИЗМ ДЕПОЛИТИЗАЦИИ

Виталий Куренной

Общераспространенные дефиниции государства предписывают рассматривать его как институт политический и даже политический по преимуществу («государство — это политическая организация общества»). Такое понимание государства, однако, резко контрастирует с теми процессами, которые мы наблюдаем в современной России. Усиление государства на деле оборачивается тенденцией, которую можно обозначить все более популярным понятием «деполитизация». Последние годы мы наблюдали стремительный процесс деполитизации, который развернулся в культуре, СМИ, обществе, захватив, наконец, саму партийную систему и ритуал выборов. Политическое стремительно маргинализуется, уходя на периферию и освобождая место какому-то иному феномену, в отношении которого распространенные политологические категории представляются не вполне нерелевантными.

Объяснений ad hoc этому явлению можно предложить множество — общество устало от потрясений, не стратифицировано, а потому и не может сформулировать свои групповые интересы, индивидуалистично, ориентировано на потребление, управляемо «административным ресурсом» или телевизором. Но здесь предложена попытка проанализировать данную ситуацию в несколько иных понятиях, обратившись к работе Карла Шмитта «Эпоха деполитизаций и нейтрализаций» (1929)[1]. Это обращение не случайно: на наш взгляд политико-правовые категории Шмитта весьма адекватно позволяют описывать и объяснять некоторые существенные особенности современной политической ситуации в том числе и в России[2].

1. Далее цитируется по Интернет-версии работы в переводе А. Филиппова Шмитт К. Эпоха деполитизаций и нейтрализаций // Социологическое обозрение. Т. 1. 2001. № 2.
2. См., в частности, Куренной В. Мерцающая диктатура: диалектика политической системы современной России // Левая политика. 2007. № 1. С. 17–24.

Политическое, как известно, определяется Шмиттом через особую нередуцируемую пару категорий — категорий друг/враг, — лишенных личностного смысла (можно испытывать к кому-то симпатию, но политически быть его врагом). Государство, постольку, поскольку оно является политическим феноменом, а также поскольку оно является *действительным* государством, обнаруживает себя в том, что именно оно берет на себя прерогативу политической категоризации. Эта категоризация, однако, не является, согласно Шмитту, произвольной, но обнаруживает историческое измерение и определенную динамику. Последняя определяется как смена «центральных областей» культуры и общества, которые в новой и новейшей европейской истории[3] сменяют друг друга как четыре «шага» или четыре «века»: теологический, метафизический, гуманитарно-моральный и, наконец, экономический. В этом вопросе, впрочем, мысль Шмитта колеблется. «Четыре века» у него неожиданно сменяет трехчастная система, включающая в себя религиозно-теологический, национальный и экономический период, каждый из которых резюмируется следующим принципом: «cujus regio ejus religio» (чья власть, того и вера), «cujus regio ejus natio» (чья власть, того и народ) и, наконец, «cujus regio ejus oeconomia» (чья власть, того и хозяйство — принцип советского государства).

Таким образом, «государство тоже получает свою действительность и силу от соответствующей центральной области, потому что главенствующие темы споров при разделении на группы друзей и врагов точно так же определяются соответственно главенствующей предметной области». И если мы хотим понять сущность современного государства, то нам необходимо выяснить в каком «веке» мы живем, какова та центральная область, которая питает политическую витальность современного государства. Ибо только таким образом мы можем — применительно к любому «веку» — понять, в чем состоит «очевидность убеждений и аргументов, а равным образом — и содержание духовных интересов, принцип поведения, тайна политического успеха и готовность больших масс впечатлиться определенными внушениями». Государство как аппарат управления является политическим в той мере, в какой оно овладевает управлением именно в «центральной области». Можно сказать, что такое овладение центральной областью политического конфликта создает политическую инстанцию как таковую. Однако такое овладение, если развить логику рассуждений Шмитта, не проходит бесследно: дан-

3. Разумеется, все это со следующей оговоркой: «Я не говорю о культуре человечества в целом, о ритме мировой истории, я ничего не способен сказать ни о китайцах, ни об индийцах, ни о египтянах. Поэтому последовательность смены центральных областей [здесь] не мыслится также ни как непрерывная восходящая линия „прогресса“, ни как его противоположность, а считать ли эту последовательность восходящей или нисходящей, подъемом или упадком, — это отдельный вопрос» (Указ. соч.).

ная область нейтрализуется и деполитизируется, тогда как живительный для политического конфликт переносится в новую область. Чтобы сохранять свое политическое значение центр власти (государство) должно не упустить этот момент, иначе политическим может завладеть другой центр или другая группа. Например, «государство, которое в экономическую эпоху отказывается от того, чтобы самостоятельно правильно познавать экономические отношения и управлять ими, должно объявить себя нейтральным в отношении политических вопросов и решений и отказывается тем самым от своего притязания на господство».

В чем, однако, состоит сущность нейтрализующей «деполитизации»? Она заключена в «технике»: «Очевидность распространенной ныне веры в технику покоится лишь на том, что могли поверить, будто именно техника представляет собой искомую абсолютно и окончательно нейтральную почву. Ведь, кажется, нет ничего более нейтрального, чем техника». Специфика позиции Шмитта состоит, однако, в том, что хотя он и выделяет технику как особую область по отношению к другим «центральным областям», однако это ее особое положение отнюдь не означает, что она в самом деле может полностью нейтрализовать политическое, приведя к установлению «вечного мира», в котором политическому в его фундаментальном смысле больше нет места. В конечном итоге, считает Шмитт, «политика достаточно сильна, чтобы совладать с новой техникой, и каковы настоящие разделения на группы друзей и врагов, возникающие на этой новой почве».

Описав этот специфический взгляд Шмитта на существо политической динамики современного государства, необходимо двинуться дальше, попробовав извлечь основные выводы, следующие из данной позиции применительно к настоящему времени. Но имеет смысл задержаться на некоторых особенностях того понимания техники, которое предъявляет здесь Шмитт, чтобы несколько лучше понять те границы, которые наложили на него время и место. Во-первых, нужно отметить, что рассуждения Шмитта имеют эскизный и даже не вполне последовательный характер (например, в уже отмеченном вопросе о содержательной исторической периодизации новой европейской истории). Во-вторых, когда Шмитт подводит итог своим рассуждениям, он фактически воспроизводит одну из тривиальностей, получивших широкое распространение среди немецких философских антропологов и ранних «философов техники». Когда он пишет «Техника уже не есть нейтральная почва в смысле вот этого процесса нейтрализации, и ею будет пользоваться всякая сильная политика», — то, очевидно, речь идет о том, что техника есть всего лишь средство, т. е. пусть и необычайно мощный, но все же инструмент. Она не имеет самостоятельного значения, но обречена стоять на службе действительно политических интересов. Именно в этом смысле техника может приобрести какую угодно ценностную окраску — она может быть обращена против любого или во благо любого. Все зависит от того, что овладевает техникой. По отношению к чему

артикулируется данная позиция? — Шмитт пишет: «Так с самого начала двадцатое столетие оказывается не только веком техники, но и веком религиозной веры в технику». Но если речь и идет, действительно, о XX веке, то лишь о самом его начале. Критика «веры в технику» как пацифистской панацеи, безусловно, не является оригинальной в 1929 году, когда Шмитт произносит свою знаменитую речь «Эпоха деполитизаций и нейтрализаций». Вера в научно-технический прогресс, конечно, родовая особенность просвещенческого мышления как такового. Но все же специфически политическое звучание техницизм приобретает именно в XIX веке. Последствия Великой французской революции, одним политическим рывком пытавшейся переустроить общество на рациональных основаниях, привело к разочарованию в планах прямой политической инженерии, что вкупе с воспоследовавшей эпохой Священного союза заставило искать обходные пути построения гуманного и рационального общества — и, прежде всего, в русле научно-технического прогресса. Именно последний должен был косвенно помочь достичь того, что не удалось посредством прямого политического действия. В Германии с ее запаздывающим развитием особое значение имеет в этой связи неудача мартовской революции 1848 года. Неуспех парламентской либерализации вновь уводит политические устремления в отвлеченные сферы — апологетика научно-технического прогресса в форме эпатажного материализма совершенно не случайно вызывает столь напряженные дискуссии, ведь именно эту форму приобретает «религия техники», имеющая прямой политический подтекст. Марксова концепция смены надстройки на основе трансформации базиса — лишь один из протовариантов этого техницистского мировоззрения. Шмитт совершенно точно формулирует основу для такой притягательности технического мышления: «В противоположность теологическим, метафизическим, моральным и даже экономическим вопросам, о которых можно спорить целую вечность, технические проблемы имеют какую-то освежающую объективность, у них есть внятные решения, и понятно, что выход из безнадежно запутанной проблематики всех других сфер попытались найти в техничности. Кажется, будто здесь смогут быстро прийти к согласию все народы и нации, все классы и конфессии, люди всех возрастов и полов, потому что все с одинаковой очевидностью пользуются преимуществами и удобствами технического комфорта». Задержимся, однако, на этом эпизоде духовно-политической истории Германии, чтобы лучше понять интригу, стоящую за логикой размышлений Шмитта. Итак, политическое, лишенное возможности своего публичного развертывания через чаемые институты политического процесса, возвращается вновь в лоно научно-технического проекта. Но наука и техника дают прибежище такого рода мотивам уже не первый раз. В ситуации новоевропейских религиозных войн наука таким же образом рассматривалась как наиболее надежный, убедительный, но в то же время мирный способ разрешения религиозных конфликтов. Коль ско-

ро старые книги вызывают не просто споры, но непрекращающееся кровопролитие, тогда их следует позабросить и, вслед за Декартом, обратиться к тому, что можно найти «в самом себе» и «книге мира». Изначальным условием, впрочем, при котором религия потеснилась, чтобы дать место самостоятельной науке в интеллектуальном пространстве Европы, была декларируемая религиозная лояльность со стороны науки (тот же Декарт и его онтологическое доказательство бытия Бога — прекрасный тому пример). Позабытые ныне условия контракта между наукой и религией Ф. Бэкон формулирует, например, так: «Прежде всего, науки еще сильнее и эффективнее побуждают нас превозносить и прославлять божественное величие… С другой стороны, философия дает замечательное лекарство против неверия и заблуждения»[4]. И все же данный внешний альянс завершился масштабной секуляризацией, в результате которой наука фактически взяла на себя функции церкви (если следовать известной интерпретации Пола Фейерабенда), когда место клира заняли научные эксперты. Однако то, что вышло с религией, не вполне удалось с политической властью. Разумеется, идеал политика-философа или политика-ученого имеет древние корни, восходя к Платону. И все же именно в Новое время и период модерна этот идеал был разработан как никогда основательно и подробно. Философы Просвещения все еще довольствуются ролью консультантов при просвещенном монархе. Классики немецкой философии, лишенные такого рода влияния на властный центр, были более аккуратны в своих построениях, хотя и здесь в ходе бесконечной исторической аппроксимации предполагается постепенное совпадение позиций «власти» и «разума». Только Гегель, наиболее признанный одно время философ Пруссии, объявил о реализации разума в своем знаменитом тезисе о действительности разумного (во многом отказавшись от либеральных позиций своего доберлинского периода). Однако появляются и более амбициозные проекты, в частности, грандиозный замысел Огюста Конта, в котором обществом должны в конечном счете управлять социальные инженеры, руководствующиеся «позитивной наукой». Эта же идея, хотя и существенно видоизмененным образом, получила воплощение в советской версии марксизма, которая — по меньшей мере декларативно — наделяла политической властью партию как орган, владеющий передовой формой знания об обществе и его подлинных тенденциях. Но все же, если мы посмотрим на общую судьбу науки в XIX столетии, мы увидим, что ее институционализированные формы все более и более нейтрализуются, изживая из себя ценностное и тем самым политико-идеологическое содержание. Макс Вебер — наиболее известный, но отнюдь не первый университетский ученый, декларировавший тезис о ценностной нейтральности научного знания («Наука как призвание и профессия»

4. Бэкон Ф. Великое восстановление наук // Бэкон Ф. Соч. в 2-х томах. Т. 1. М.: Мысль, 1971. С. 128.

(1918)). В русле этой тенденции лежит и идея «философии как строгой науки», опять же более известная по статье Эдмунда Гуссерля 1911 года, но в действительности поставленная на повестку дня уже в 1830-е годы XIX в., фактически сразу после смерти Гегеля (Адольф Тренделенбург, Фридрих Эдуард Бенеке и др.). Таким вот образом и возникает та структура, которой оперирует в том числе и Карл Шмитт: техника (научно-технологическая рациональность) является, по сути, нейтральной сферой, которой овладевают те или иные «политические», «ценностные» силы, «элиты» (М. Шелер) и т. д. Шмитту прекрасно известно о том, что научно-техническая рациональность на самом деле долгое время представляла собой пространство ценностной борьбы. Фактически воспроизводя тезис Вебера, он замечает: «Процесс постоянной нейтрализации различных областей культурной жизни дошел до конца, потому что дошел до техники». Так ли это? — К этому вопросу мы обратимся ниже. А пока вернемся к проблеме нейтрализации и деполитизации.

Окинув взглядом современную историю или, точнее, общепринятый способ рассказывания о ней, трудно не согласиться с тезисом Шмитта о нейтрализации. Причем источником нейтрализации и деполитизации выступает именно государство: государство ограничивает безусловность религиозного конфликта, вытесняя саму религиозность в приватную сферу. Затем государство нейтрализует социально-сословный источник конфликтности, упраздняя сословия и вводя понятие равноправного гражданства. Государство смягчает экономический источник политического конфликта (будь то в советском варианте или в варианте «социального государства» всеобщего благосостояния). В своей смешанной форме социально-экономический конфликт является источником формирования партийно-парламентской системы, каковая является нейтрализованным пространством улаживания политической вражды больших социальных групп или «классов». Государство ровно таким же образом снимает этнические и культурные конфликты (посредством гражданско-правовых институтов или же, если брать новейший вариант, посредством социокультурной политики толерантности и мультикультурализма). Государство (в рамках своих учреждений) нейтрализует науку, изживая из нее ценностный элемент и требуя «чистой» науки или столь же нейтральных «образовательных услуг». (Этот список может быть, конечно, продолжен и дифференцирован.) Что же происходит с некоторой областью после того, как она подверглась нейтрализации? — Она теряет общественно-политический смысл, вытесняясь в сферу приватных интересов индивида, производства индивидуальных и индивидуально групповых различий. Или, как определяет это Макс Шелер, имеет место «тенденция к выравниванию при постоянно растущей дифференциации индивидуума „человек“»[5].

5. Шелер М. Человек в эпоху уравнивания // Шелер М. Избранные работы. М.: Гнозис, 1994. С. 107.

А что же происходит с этой сферой дальше? Не будет большим преувеличением (хотя здесь есть и значимые исключения, например, религия) предположить, что нейтрализация открывает пространство для действия и развертывания второй важнейшей подсистемы современного общества — экономической. Это легко объяснить тем, что экономика как система обмена нуждается в определенного рода гомогенности, гомогенности, допускающей эквивалентную квантификацию и отсутствие непреодолимых ценностных барьеров на пути этого обмена. Действительно, единственная преграда для экономической интеракции — это преграда политическая, безусловная, проводящая границу, пересечение которой не может быть компенсировано никакими «транзакционными издержками». Т. е. политическое столкновение по своей имманентной логике не может быть разрешено посредством экономической калькуляции. Но как только политическое нейтрализовано, открывается пространство для появления новых и расширения старых рынков. В этом пространстве можно сколько угодно множить индивидуальные (или групповые) дифференциации, но они не способны перейти в качественно иной, серьезный политический конфликт.

Здесь можно привести следующий, возможно, несколько неожиданный пример. Важнейшим генератором политического является утопия, утопический жанр литературы. Именно утопизм является эмоциональным двигателем политических преобразований современности, без утопий невозможно себе представить ни либеральный западный политический проект, ни социалистическую систему — два основных проекта «современности», определившие политическую судьбу XX в. Как замечает Карл Мангейм в сохраняющей в этом вопросе всю свою значимость работе «Идеология и утопия», появление первой формы утопического мышления в христианской культуре — хилиазма, со всей полнотой обнаружившего свою мощь в протестантизме, — «можно считать началом политики в ее современном смысле слова, если под политикой понимать более или менее сознательное участие всех слоев данного общества в деле преобразования посюстороннего мира в отличие от фаталистического принятия всего происходящего и покорного согласия на управление „сверху“»[6].

В чем состоит существо политического утопизма? Мангейм определил утопическое мышление следующим образом: «Определенные угнетенные группы духовно столь заинтересованы в уничтожении и преобразовании существующего общества, что невольно видят только те элементы ситуации, которые направлены на его отрицание. Их мышление не способно правильно диагностировать действительное состояние общества. Их ни в коей мере не интересует то, что реально существует, они лишь пытаются мысленно предвосхитить изменение существую-

6. Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 181.

щей ситуации. Их мышление никогда не бывает направлено на диагноз ситуации; оно может служить только руководством к действию. <…> Оно отворачивается от всего того, что может поколебать его веру или парализовать его желание изменить порядок вещей»[7]. Все формы утопического политического сознания — за исключением консерватизма, о котором мы скажем ниже, — глубоко нигилистичны (в буквальном смысле слова). Они отрицают наличную действительность, существующие структуры социального бытия. Причем отрицают таким образом, что одновременно служат руководством к действию, которое должно или радикально изменить, или полностью взорвать наличный порядок вещей. Невинная фантазия благодаря политической утопии становится кувалдой, перелицовывающей мир.

Политические утопии не возникают на пустом месте и не становятся действенными на основании какой-то эмоциональной или эстетической привлекательности. Политическая утопия — оружие обделенных. Она востребована теми социальными группами, которые чувствуют себя обойденными в социальном, политическом или экономическом плане. Что же происходит, когда этим силам удается достичь того, к чему они стремились? Они становятся радикально аутопичными, превращаются в реалистов, презирающих любую политическую фантазию. Эти группы становятся консервативными, их основная задача заключается в том, чтобы сохранить существующую новую структуру бытия. Чтобы противостоять новым формам утопизма, одухотворяющим стремление к дальнейшим радикальным преобразованиям, консерватизм, однако, все же вынужден прибегать к особым идейным инструментам. По сути, он должен оживить какой-то идеей существующее положение дел. Образцовым примером такой работы и является идеалистическая система Гегеля, которую венчает уже упомянутый вывод: «Все действительное разумно». Сова Минервы консерватизма вылетает в сумерки, когда исторические события уже произошли, и надо только показать, что история подошла здесь к своему концу. Совершенно не случайно новейшее издание формулы о «конце истории» принадлежало Фрэнсису Фукуяме — американскому консерватору.

До последнего времени утопия знала две основные разновидности, вышедшие из общей протоформы — хилиастического стремления построить Царство Божье на земле. Это либерально-прогрессивная утопия поступательного прогресса и социалистическая утопия революционного преобразования мира. По своим целям они мало чем отличаются друг от друга — различие только в средствах достижения этих целей. Если проанализировать советскую социалистическую фантастику, то мы, кстати, обнаружим любопытный эффект: в рамках самой социалистической системы фантастика выполняла роль мягкой разновидности либерально-прогрессивной утопии. Будущие граждане

7. Манхейм. Указ. соч. С. 40–41.

коммунистического мира, достигшие небывалых высот развития технологии, жили в свое творческое удовольствие, занимались познавательным покорением мира, бороздя на своих звездолетах бескрайние просторы Вселенной. Однако на фоне двухвековой борьбы либерально-прогрессистской, социалистически-революционной и консервативной форм утопизма нельзя не заметить, что в нашей актуальной ситуации мы не замечаем сколько-нибудь значимого присутствия ни одной из них. Все прежние утопические позиции маргинализовались, а их место заняла некая скучная и никого особо не вдохновляющая прозаичность и рутинность[8]. Это легко заметить по выступлениям наших политических лидеров — в задачах удвоения ВВП, планах роста конкурентоспособности экономики, развитии правовых институтов и т. д. и т. п. нет ничего волнующе-утопического. Даже попытки вдохнуть некую эмоциональную составляющую в идеологическое сопровождение этой политики, которые не так давно предпринимал Вячеслав Сурков со своей идеей «приватизации будущего», очевидно, никого не заводят ни на труд, ни на подвиг.

Карл Мангейм заметил эту тенденцию. Он связывал ее с тем, что современное общество постепенно приходит к состоянию исчезновения всякой «одухотворенности», всякой способности к подлинному «трансцендированию» реальности. Такое состояние вызвано эффектом снятия конфликтов такого рода, в которых существует отчетливо пораженная в своих ожиданиях группа, способная питать общую надежду на изменение ситуации путем утопического преобразования мира. Все социальные задачи рутинизируются, становятся прозаическими, они, как мы можем теперь сказать, *нейтрализуются*. Утопия тем самым теряет свое политическое значение, конвертируясь в сорт фантастической литературы для чтения на досуге. Она порождает эмоциональную компенсацию, но политически безвредна. Уже само ее многообразие, нарастающая экзотичность и коммерческое назначение свидетельствуют о ее полной политической стерильности. Предложение на рынке фантазий так велико и многообразно, что само это обстоятельство подтачивает ту слабую надежду на возвращение политической утопии, которую еще мог питать Мангейм. Это очень легко понять, пройдя вдоль ломящихся от фантастической литературы полок книжных супермаркетов. Даже если Фредрик Джеймисон[9] способен среди этого уравненного многообразия вычленить те работы, которые

8. Примечательно, что Шелер в эпоху «уравнивания» связывает свои надежды с новым *метафизическим* прорывом, основанным на практике феноменологического «сущностного усмотрения». Метафизика для него — это «*свободное дыхание человека*, которому угрожает опасность задохнуться в специфике своего „окружающего мира“» (Шелер М. Указ. соч. С. 119).
9. См. Jameson F. Archaeologies of the Future. The Desire Called Utopia and Other Science Fictions. London — New York: Verso, 2005.

способны репрезентировать искомый им политический смысл утопии или утопический «импульс», по большому счету данную сферу в настоящее время можно считать политически нейтрализованной. Простой фактор коммерциализации завершает данный процесс деполитизации, который изначально требовал специальных мер. Например, цензуры, а если взглянуть более широко, то и специальных государственных эстетико-утопических проектов. Борис Гройс, как известно, трактует в качестве такого проекта сталинизм. Художники-авангардисты, выступившие с претензией на политическую власть с целью радикального преображения мира, добились того, что данный проект был принят. Правда, с некоторыми поправками: не художники определяли политику, а политическая власть взялась за эстетическое переустройство мира, тем самым радикально «нейтрализовав» пространство эстетических дискуссий (сведя их в лучшем случае до уровня взаимного доносительства). «По существу, — замечает Гройс, — Сталин был единственным художником сталинской эпохи — и в этом смысле наследником Малевича или Татлина в гораздо большей степени, нежели более поздние музейные стилизации авангарда»[10]. (Иные, но не менее радикальные формы государственного присвоения, а тем самым и нейтрализации утопии мы находим и в противоположном лагере — чего стоит только высадка астронавтов на Луну.) Сталинизм, конечно, радикальная форма контролируемой государством политической утопии, однако если взглянуть на нынешнее положение дел, то нетрудно обнаружить и вполне современные формы столь же радикально нейтрализованного государством утопизма — «План Путина», уже упомянутая «приватизация будущего» и т. д. Все прочие формулы утопизма маргинализованы и не имеют большого значения.

Согласно Шмитту, нейтрализация и деполитизация существенным образом связана с техникой. В чем состоит смысл техники? Техника в современном смысле слова — это воплощенная рациональность, наиболее эффективный способ достижения поставленных целей. В русле веберовского понятия «целерациональности» самое понятие цели имеет, однако, существенно ограниченный смысл. Цель здесь (в отличие от «ценностной рациональности») понимается как обмирщенная, посюсторонняя цель, степень приближения к которой может быть измерена. Трансцендентные цели не попадают в этот сегмент рациональности, поскольку в данном случае нет интерсубъективно приемлемых способов оценить степень приближения к ним (мы не можем сказать, например, какая из «техник» религиозного спасения является более эффективной). В этом отношении сфера политического, основанная на безусловном делении друга и врага, на экзистенциальном отрицании врага, является, конечно, нерациональной сферой. Оружие, например, как механизм поражения таких-то целей с такой-то эффективностью, вполне рациональ-

10. Гройс Б. Сталинизм как эстетический феномен // Синтаксис. 1987. № 17. С. 105.

ная техника. Но вот когда оружие становится элементом военно-политического столкновения, то эта рациональность оборачивается предельной иррациональностью. Время жизни современного танка на поле боя с равным противником — всего несколько минут, хотя он представляет собой образец технологической рациональности. А, скажем, появление атомной бомбы в конце Второй мировой войны превратило в металлолом гигантские эскадрильи бомбардировщиков дальнего радиуса действия, сформированные СССР к концу войны. Однако политическое, которое продолжает сохранять свою значимость как внешнеполитическое, не считается с очевидной иррациональностью средств, растрачиваемых на преследование неких политических целей. Действительно, сфера международных отношений продолжает оставаться не нейтрализованной сферой подлинно политического, питающей центры государственной политической власти во всем мире, но этот вопрос заслуживал бы отдельного рассмотрения.

Но что конкретнее означает деполитизация и нейтрализация определенной социальной сферы, если речь идет о внутреннем пространстве государства? По-видимому, речь идет о том, что место политического столкновения занимает «техника». Но это техника особого рода. Ее можно назвать также «процедурной технологией», технологической схемой, дающей при определенных условиях определенный результат; это рационализированный алгоритм, позволяющий достичь решения или консенсуса, избегая возможности появления значимого политического конфликта. Когда Макс Шелер говорит о формах, лишенных жизни, интернациональных и при этом континуально прогрессирующих исторически, а именно о «позитивной науке, технике, формах государства и управления, юридических правилах», объединяя все это понятием «цивилизация»[11], то имеются в виду именно такого рода «процедурные технологии», нейтрализующие возможность политической (предельной) дифференциации. Нейтральность таким вот образом понятой техники заключается в возможности ее свободного проникновения через культурные и национальные границы (импорт такого рода чрезвычайно характерен, в частности, для России).

Сказанное позволяет нам оставить в стороне вопрос о науке и технике в узком смысле слова, сосредоточившись на проблеме социальной или «процедурной технологии». Технологизация определенной сферы социальной жизни означает, по сути, прекращение спонтанности, грозящей политическими последствиями, и придание управляемого характера процессам, происходящим в этой сфере. Но проблема управляемости, понятая в то же время как проблема технологической рационализации, представляет собой проблему бюрократии. Поэтому Вебер совершенно неслучайно связывал процесс «рационализации» западного мира с процессом распространения рационально-бюрократи-

11. Шелер М. Указ. соч. С. 109.

ческого аппарата. Нет, таким образом, ничего удивительного в том, что процесс нейтрализации имеет своей обратной стороной бюрократизацию — тенденцию, рост которой исторически фиксируется во всех современных обществах. Попутно нетрудно также заметить, что как только государство стремится подогреть в обществе политический дух, апеллируя к спонтанности и жизненности социальных сил, как тут же заводятся популистские речи о дебюрократизации.

Итак, размышляя над тезисом Шмитта о нейтрализации и деполитизации, мы пришли к выводу, что сущность нейтрализации заключена в расширении процедурных технологий на те сферы социальной жизни, которые могли породить эффект политического различия. Технологизация как процесс, в свою очередь, означает бюрократизацию, т. е. по меньшей мере контроль над социальными процессами, улаживающий конфликты в соответствии с определенными формально-рациональными процедурами, что, говоря словами Шмитта, «делает возможными безопасность, очевидность, взаимопонимание и мир». «Живой» остаток конфликта уходит в уже упомянутую сферу индивидуального выбора, отданного по большей части на откуп экономическим процессам производства, обмена и потребления, которые разворачиваются в гомогенной среде (здесь, в свою очередь, действуют собственные бюрократии и рациональные процедуры управления производством, логистики, торговли и т. д.). В этой конструкции политическое располагается «над» нейтрализованной сферой бюрократической техники, будучи представлено, например, в форме политического центра или в лице «политических чиновников» (Вебер), каковые (в рамках расхожего определения государства, которым мы начали эту статью) и воплощают собственно политическую сущность государства. Нейтральный технический аппарат является инструментом политического действия, но сам не является политическим.

Попробуем, однако, продвинуться немного дальше и задать вопрос, действительно ли, как полагает Шмитт, (бюрократическая) техника и технология не нейтральны только в том смысле, что «ею будет пользоваться всякая сильная политика». При такой постановке вопроса технике действительно отказано в нейтральном характере. Но лишь постольку, поскольку техника обречена на то, чтобы стоять на службе политики, «достаточно сильной, чтобы совладать с новой техникой» и произвести новое разделение «на группы друзей и врагов, возникающие на этой новой почве». А что если конкретный характер нашей политической эпохи заключается как раз в том, что «центральные сферы» жизни утратили свой жизненный характер? Что если политическое не может возникнуть не из религиозного, не из социального, не из экономического? Не остается ли в таком случае техника единственной значимой «центральной сферой», в рамках которой и осуществляется подлинная политическая борьба? Похоже, подобные вопросы ставит и Александр Филиппов, размышляющий о «Диктатуре» Шмит-

та: «Казалось бы техника в наименьшей степени может быть предметом политической дискуссии, потому что смысл техники — эффективность, а максимизация эффективности сама по себе бесспорна. Но эффективность государственного устройства не поддается нейтральным оценкам. Само применение определенного рода техники имеет политический смысл, более того, определение политических действий как действий технических также имеет политический смысл»[12]. Нейтральность техники поставлена тем самым под сомнение, но, скорее, слишком в духе самого Шмитта, ибо, продолжает автор, «техника — это потенцирование способности действия». Иными словами, техника имеет политический смысл постольку, поскольку (всегда) используется или определяется политически, но само политическое (и ценностное) все же отлично от нейтральной (в идеально-«бесхозном» случае) и деполитизированной техники. Реконструируя последовательность «логического рассуждения» Шмитта, А. Филиппов еще раз фиксирует эту дифференциацию: «1. Существует рутина управления. Она регулируется положениями права. В контексте обычного хода вещей власть означает сравнительно большую компетенцию. Объемы властных полномочий также регулируются правом. *Существо власти как таковое не обнаруживается*»[13]. Таким образом, смысл техники все же кульминирует в «рутине управления», в котором нет места политическому решению.

Этой точке зрения я здесь попробую противопоставить другую, взяв за отправную точку тезис М. Маклюэна «Средство коммуникации — это само сообщение» («The medium is the message»). Развивая свой собственный вариант философии техники, Маклюэн в этом пункте пришел к примечательному выводу: техническое средство коммуникации не является нейтральным проводником смысла, но само производит определенный смысл, который, кстати сказать, непросто опознать и декодировать. В случае бюрократической техники, бюрократического «медиума», наиболее очевидным «сообщением», которое мы можем распознать, является проблема объекта управления. Чтобы контролировать и управлять, необходим предмет управления. Сама «жизнь» во многих (если не во всех) случаях имеет формы, плохо поддающиеся такого рода рационально-управленческим манипуляциям. Отсюда следует *политика* стандартизации, приведения объектов управления к рационально-наглядной форме, кодификации, формализации, упорядочивании, классификации квантифицируемых показателей и индикаторов. Как результат — перепланировка городов, организация но-

12. Филиппов А. Техника диктатуры // Шмитт К. Диктатура: От истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы. СПб.: Наука, 2005. С. 278. См. также ниже: «сама идея нейтрального аппарата является предметом борьбы: как в конце 20-х годов скажет Шмитт, вопрос о том, является ли нечто политическим или нет, сам является политическим вопросом» (Там же. С. 295).

13. Там же. С. 315. Курсив мой. — *В. К.*

вых форм хозяйствования[14], стандарты сертификации услуг и т. д. и т. п. Бюрократическая техника здесь выступает не просто как пассивный проводник «политики», но как активный и далекий от «нейтральности» творец новой реальности, возводимой на месте более или менее интенсивно уничтожаемой старой. Разумеется, «жизнь» пытается избежать этого давления. Тем самым, в частности, возникает тот эффект, который описан применительно к России как «распределенный» образ жизни[15]: испытав на себе могучую длань советского бюрократического аппарата, люди научились жить «между городской квартирой, дачей, погребом, сараем и гаражом» (для некоторых новых социальных слоев таким погребом может быть счет в оффшоре, но суть от этого не изменяется). Но, разумеется, этим дело не ограничивается — существует сложнейший комплекс форм, само появление которых можно понять лишь исходя из «нейтральной» техники бюрократии, включая фиксацию рождения и смерти, создание семей, выстраивание собственной биографии. Причем многие из этих форм живут и развиваются совершенно независимо от всякой «политики», от перемены власти или даже от революции — наиболее масштабной смены всех, казалось бы, общественных институтов. Но при этом они вовсе не лишены определенного ценностного аспекта. «Средство» диктует свой собственный формат для «жизни», отливая ее в новые (авангардные) или уже давно закостеневшие формы, затаптывая при этом прежнюю неупорядоченную и не поддающуюся рациональному контролю и учету поросль. Таким образом, данный процесс «нейтрализации» вовсе нельзя считать таким уж нейтральным, как он может показаться поначалу. Причем есть основания считать, что этот «нейтральный» режим контроля и управления уже давно вышел за рамки какого бы то ни было подчинения со стороны «политической» инстанции. Именно таким образом можно прочитать и мрачный тезис Джорджио Агамбена о нарастающем режиме «чрезвычайного положения» в современном мире: «Это означает, что демократический принцип разделения властей сегодня потерял свое значение и что исполнительная власть фактически поглотила законодательную, по крайней мере — частично. Парламент больше не является суверенным органом, которому принадлежит исключительная власть устанавливать законы для граждан. Парламент ограничивается тем, что ратифицирует распоряжения, обнародованные исполнительной властью. С технической точки зрения республика является теперь не парламентской, а правительственной (gouvernemental). При этом весьма примечательно, что такого рода из-

14. Блестящим образом ряд аспектов данного процесса описан Джеймсом Скоттом в его работе «Seeing Like a State» (в вышедшем русском переводе — «Благими намерениями государства»).

15. См. Кордонский С. «В реальности» и «на самом деле» // Логос. 2000. № 5/5 (26). С. 53–64.

менения конституционного порядка, которые в настоящее время с разным размахом протекают во всех западных демократиях, остаются совершенно незамеченными гражданами, хотя они прекрасно осознаются юристами и политиками. Именно в тот момент, когда западная политическая культура стремится преподать другим культурам и традициям урок в вопросах демократии, она не отдает себе отчета в том, что она полностью утратила мерило в этих вопросах»[16].

Если от этого вопроса, заданного западной традицией обсуждения бюрократии, обратиться к отечественной ситуации, то тезис о нейтрализации может получить несколько иное звучание. Но, разумеется, в определенной мере он работает, что в особенности заметно по упомянутой в начале этой статьи деполитизации собственно политической жизни. Политтехнологическое перенапряжение 1990-х гг., требовавшее виртуозной пропаганды от кандидатов, сменилось, вообще говоря, вполне рутинной процедурой голосования за заранее известную партию и известного кандидата. Сфера регулирования и контроля за данным процессом может быть рутинно передана Центральной избирательной комиссии, которая может и далее совершенствовать свои бюрократические методы. Это с одной стороны. С другой же стороны, совершенно не верится ни в какую рационализацию и нейтрализацию на фоне гигантской проблемы коррупции. Если бюрократия является тотально коррумпированной, то ни о какой рутине, конечно, речи быть не может. В такой ситуации фактически любой чиновник является — по крайней мере потенциально — маленьким политиком, способным принимать жизненно важные для граждан решения. Тогда главной *политической* борьбой становится не борьба в какой-либо внеположенной административно-бюрократическому аппарату «центральной сфере жизни» (будь то общество, экономики, культура или религия), а борьба сугубо внутриаппаратная, внутриадминистративная. Но такой ситуации не предполагает ни теория Шмитта, ни концепция Вебера. Ее фактическому наличию можно дать два объяснения. Одно из них было недавно предложено мной в форме тезиса о несостоявшемся или «несовершенном» государстве[17]. Как нас ни убеждали (в форме апологии или, наоборот, критики) в том, что современное российское государство набирает (чрезмерную) силу, то, что мы наблюдаем, свидетельствует об обратном. Для того чтобы побудить серьезно обдумать этот тезис, приведу два определения государства, принадлежащие двум совершенно разным мыслителям. В «Философии права» Гегель пишет: «Государство есть действительность конкретной свободы; конкретная же свобода состоит в том, что личная единичность и ее особенные интересы получают свое полное разви-

16. Agamben G. Ausnahmezustand. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2004. S. 26–27.
17. Куренной В. Рациональная бюрократия: теория и идеология // Прогнозис. 2007. № 2 (10). С. 177–187.

тие и признание своего права для себя (в системе семьи и гражданского общества) и вместе с тем посредством самих себя частью переходят в интерес всеобщего, частью своим знанием и волей признают его, причем признают его именно как свой собственный субстанциальный дух и действуют для него как для своей конечной цели» (§ 260). В совершенно иной исторической ситуации Макс Вебер пишет, что в «современном рациональном государстве» «вся политика ориентируется на объективный государственный интерес, прагматику и абсолютную… самоцель сохранения внешнего и внутреннего распределения насилия»[18]. С точки зрения приведенных критериев государство в России пока не состоялось. В значительной степени оно все еще является ареной действия личных, семейных и гражданских сил (гражданского общества), хотя ареной особой, доступ к которой не является равно открытым для всех. Второе возможное объяснение состоит, пожалуй, в том, что современное российское государство в силу особенностей своей новейшей (советской) истории, а также своей специфической экономики и географии, требующей чрезмерно массивного аппарата перераспределения, конституировалось как некий совершенно специфический феномен, в котором административно-бюрократическое поле, действительно, является единственной «центральной областью». Но тогда возникает кардинальный вопрос: можно ли вообще его нейтрализовать и каким образом этого можно добиться? Или, принимая поправку на вышесказанное о ценностном аспекте «техники» управления, каким образом российское государство можно ввести в те ценностные рамки, которые отвечали бы базовым рациональным ожиданиям его граждан

18. Вебер М. Хозяйство и общество. Цит. по Филиппов. Указ. соч. С. 292.